ПРАВО НА ОШИБКУ

КНИГА ВТОРАЯ

ПРОТОКОЛ ПРИСУТСТВИЯ

ОНИ НЕ УШЛИ.
ОНИ ОСТАЛИСЬ В СИСТЕМЕ.



Вячеслав Котовский

Книга вторая: Протокол присутствия

Серия «Право на ошибку», книга 2

https://litres.ru/73914444
SelfPub; 2026

Аннотация

После раскрытия скрытого Индекса доверия город больше не может управлять людьми прежним способом. Но у системы есть следующий язык доверия — голоса мёртвых.

На телефон Кирилла Ермакова приходит уведомление от погибшей жены: «Протокол присутствия доступен». Для Кирилла и его дочери Аси это шанс снова услышать Машу. Для города — возможность превратить утрату в управляемый сервис, а любовь к умершим — в новый инструмент контроля.

Чтобы не дать системе сделать из памяти государственную услугу, Кириллу и Асе придётся пройти через Дом присутствия, архивы голосов, холодный узел административных копий и самый страшный выбор: сохранить голос Маши для себя или не позволить ему стать чужим утешением.

«Протокол присутствия» — вторая книга цикла «Право на ошибку»: тревожная социальная фантастика о цифровой памяти,

семье, вине и праве человека не быть использованным даже после смерти.

Вячеслав Котовский
Книга вторая: Протокол присутствия

ПРАВО НА ОШИБКУ

Книга вторая
ПРОТОКОЛ ПРИСУТСТВИЯ

Они не ушли. Они остались в системе.

Часть первая. Отложенный контур

Глава 1. 2553 дня

Мёртвые, как выяснилось, не возвращаются стуком в дверь.

Они возвращаются уведомлением.

Оно лежало на столе рядом с остывшим чаем, надкусанным пирожком и металлической коробкой, куда Лера уже успела убрать остальные телефоны, будто сам воздух в комнате мог внезапно начать слушать слишком внимательно. На экране светилась короткая, почти вежливая надпись, от которой мир сразу становился хуже и любопытнее одновремен-

но:

ПРОТОКОЛ ПРИСУТСТВИЯ

Ермакова Мария Сергеевна

Для вас доступен отложенный контур.

Срок хранения: 2553 дня.

Повторная активация разрешена.
Под ним была кнопка.
Открыть

Я сидел на краю дивана и смотрел на экран так, будто если не моргать достаточно долго, текст сам передумает. Не передумал, конечно. Такие вещи вообще редко сомневаются в себе. Сомневаются люди, которым их показывают.

За окном город продолжал учиться жить со своими числами. С улицы доносились первые, ещё не массовые, но уже узнаваемые звуки утреннего недоверия: резкий женский голос, сразу обрывающийся на вопросе; мужчина, слишком громко говорящий в телефон; трамвай, который звякнул на повороте так, будто извинялся за то, что вообще существует в этом утре. В комнате над «Второй памятью» пахло старой бумагой, дождём, табаком с куртки Виктора Палыча и крепким чаем, который он варил так, будто любой кризис надо сначала попытаться утопить в заварке.

Лера стояла у стола, опираясь ладонью о край. Свет из окна делал её лицо ещё суше, чем обычно. В руке она держала мой телефон, но так, словно это был не телефон, а тонкая мина с очень интеллигентным взрывателем.

— “Повторная активация”, — сказала она. — Меня гораздо больше пугает не “контур”, а именно это слово.

Ася сидела на подоконнике, поджав одну ногу под себя. Дождевик Виктора Палыча всё ещё висел на ней, делая её чуть смешной, если бы не лицо. Лицо было слишком взрослым для того, что ей приходилось слышать с вечера.

— Почему? — спросила она.

Лера перевела взгляд с экрана на неё.

— Потому что это значит: кто-то уже однажды это открывал.

В комнате стало тихо.

Не театрально тихо. Просто каждый автоматически прикинул одно и то же: если сообщение говорит “повторная активация”, значит, перед нами не первый вызов. Кто-то уже нажимал эту кнопку раньше. Кто-то уже будил то, что сейчас называлось Марией Сергеевной Ермаковой внутри слова “контур”.

Я встал и подошёл к столу.

2553 дня.

Число почему-то било сильнее текста. Потому что это был не абстрактный срок хранения. Это была чужая аккуратная арифметика поверх нашей смерти. Семь лет, которые для

меня были размытым, густым, бессонным временем после Маши, здесь лежали как ровный параметр. Срок хранения. Как у вакцины, банковского лога или очень важного, но всё-таки инвентаря.

— Они не могут, — сказал я и сразу услышал, насколько бессмысленно это прозвучало.

Лера даже не посмотрела на меня.

— Могут. Вопрос только в том, что именно они называют этим словом.

— Что ты знаешь про протокол присутствия?

Она чуть помедлила. Не потому, что сомневалась. Скорее, переводила внутренний жаргон на человеческий язык.

— Ранние разговоры о таком были давно, — сказала она. — Ещё до того, как они окончательно сделали ставку на индекс доверия. Сначала это выглядело почти невинно: сохранить голос специалиста после аварии, оставить семью с чем-то вроде отсроченного сообщения, удержать экспертное знание, если человек погиб, а объект нельзя остановить. Потом кто-то очень умный понял, что знание — не главное. Главное — интонация. Люди верят не данным. Люди верят тому, как с ними говорят.

Виктор Палыч, стоявший у плитки, тихо хмыкнул.

— А я-то думал, это только в плохих браках так работает.

Никто не улыбнулся, но воздух чуть-чуть двинулся. Иногда шутка не спасает. Просто не даёт комнате окончательно стать моргом.

— Официально проект закрыли, — продолжала Лера. — Не из гуманности, конечно. Он был слишком грязный. Слишком много юридических дыр, слишком много религиозной истерики, слишком много вопросов: где кончается память и начинается новая форма использования мёртвого. Видимо, не закрыли.

— Или закрыли публично, — сказал я. — А дальше перевели в отложенный контур.

— Да, — кивнула Лера. — И, судя по уведомлению, не просто перевели. Сохранили. Причём не как архив. Как активируемую сущность.

Ася смотрела на телефон.

Не мигая.

— Открывай, — сказала она.

Я повернулся к ней.

— Ася.

— Открывай.

— Мы не знаем, что это.

— Я знаю только, что если не открыть, я потом всю жизнь буду думать, что в этот раз сама отказалась услышать маму. Этого мне не надо.

Слова были сказаны очень ровно.

Как нож кладут на стол — без угрозы, но окончательно.

Я хотел возразить. Сказать, что это может быть ловушка, инструмент, ещё один способ системы зайти в семью через горе. Всё это было правдой. И всё это уже звучало у меня в

голове слишком похоже на старого меня — человека, который сначала организует правильный страх, а потом называет его ответственностью.

Лера, будто читая это по моему лицу, сказала:

— Это и есть ловушка. Но незнание уже тоже часть их ловушки. Поэтому разницы между “опасно открыть” и “опасно не открыть” у нас больше нет.

Виктор Палыч выключил плитку.

— Ну, раз уж мёртвые научились писать первыми, совсем невежливо держать их на прочитанном.

Он снял с полки маленький вентилятор, включил его в розетку и поставил на стол. Лопасти зажужжали, разрезая тишину ровным механическим шумом.

— Это зачем? — спросила Ася.

— Чтобы у любой дряни, которая сейчас полезет из телефона, был фон, — ответил он. — Всю жизнь думал, что этот пропеллер нужен только от жары и комаров.

Лера уже действовала. Забрала у меня телефон, выключила на нём всё, что можно было выключить, убрала остальные устройства в металлическую коробку, задвинула штору, прикрывающую дверь изнутри, и только потом положила телефон на стол экраном вверх.

— Никто не трогает во время сеанса, — сказала она. — Никаких параллельных записей. Никаких комментариев в середине первой фразы. Если это реальный контур, он будет оценивать нас ещё до ответа. Если это запись — не испортим

хотя бы запись.

— С каких пор ты начала говорить “сеанс”? — спросил я.

— С тех пор, как мир окончательно решил, что простые слова ему не по карману.

Она отступила на шаг.

— Открывай.

На этот раз телефон взял я.

Экран под пальцем был чуть тёплым. От ладони. От комнаты. От человеческой жизни, которая всё ещё считала себя важнее цифрового потустороннего. Я нажал кнопку.

Никакой красивой анимации не было.

Экран просто стал чёрным.

Потом медленно, слишком медленно для нормального интерфейса, на нём появились белые буквы:

ПРОТОКОЛ ПРИСУТСТВИЯ

отложенный контур 2553

укажите степень близости

Ниже три кнопки:

супруг

потомок

наблюдатель

Я почувствовал, как рядом задержала дыхание Ася.

— Можно обе? — спросила она.

Я не знал.

Лера тоже, видимо, не знала, потому что сказала:

— Нажимай по очереди.

Я выбрал супруг.

Интерфейс мигнул и добавил строку:

дополнительный участник?

Ася сама наклонилась и нажала потомок.

Ещё одна пауза.

Потом появились новые строки:

сеанс не является юридическим подтверждением личности

сеанс не является медицинским заключением

сеанс не является религиозным доказательством посмертного существования

не требуйте от контура доказательств смерти

Виктор Палыч посмотрел на экран и тихо сказал:

— Очень обнадёживает. Особенно последнее.

Под юридической мразотой вспыхнула последняя строчка:

не прерывайте первую фразу

Затем экран на секунду померк.

Из динамика сначала пошло шипение.

Не помеха связи. Не треск записи. Что-то среднее между вздохом старой ленты и цифровым снегом, у которого почему-то была глубина. Будто не звук искали, а форму, в которой звук можно вернуть живым.

Потом раздался голос Маши.

— Если у вас на экране 2553 дня, значит, вы добрались до меня позже, чем я хотела, и раньше, чем им было бы удобно.

Я не понял, что схватился за край стола, пока ногти не впились в дерево.

Голос был её.

И не её.

Слишком чистый в верхних нотах, чуть более ровный, чем в жизни, но с тем же мягким, почти ленивым ударением на словах, которые она считала важными. У Маши всегда был голос человека, который не торопится убеждать, потому что и так знает, где правда. Здесь эта уверенность осталась. Остальное — нет.

— Кирилл, если это ты, перестань держать телефон так, будто от хватки зависит честность разговора. У тебя от этого всегда белеют костяшки. Ася, если это ты, не стой у окна. Сядь. Разговоры с мёртвыми нужно вести либо очень хорошо стоя, либо честно сидя. Ты сейчас для первого слишком напряжена.

Ася не села.

Не потому, что не хотела. Просто, кажется, на секунду разучилась управлять телом.

— Мама? — спросила она.

В комнате стало так тихо, что вентилятор на столе внезапно зазвучал как мотор самолёта.

Телефон не ответил сразу.

Пауза длилась секунды две, может, три. Слишком долго

для записи, слишком коротко для живого человека, который всерьёз думает. Я смотрел на чёрный экран и впервые в жизни чувствовал, как внутри меня одновременно живут желание услышать “да” и ужас перед тем, что это “да” действительно прозвучит.

— Да, — ответил голос. Потом после едва заметной задержки добавил: — Или то, что сумело дожить до вас внутри их хранения. Для начала этого хватит.

Ася села.

Не аккуратно — просто колени перестали держать.

Лера закрыла глаза на секунду, потом открыла и сказала ровно, почти профессионально:

— Это уже не запись.

— Нет, — ответил голос Маши. — Сначала была запись. Потом они научились заставлять записи отвечать. Поздравляю, Лера. Ты всегда слишком быстро доходила до неприятного.

Лера застыла.

— Ты знаешь, кто я?

— Я слышу голос, — сказала Маша. — А дальше уже несложно. Ты всё ещё разговариваешь так, будто любой человек может оказаться неплохо замаскированной системой. Полезная привычка. Не осуждаю.

У меня перехватило дыхание.

Дело было даже не в узнавании. Дело в ритме. В той самой манере уводить удар в сторону почти шуткой, а потом

говорить главное так, будто это не главное вовсе. Так делала только Маша. И именно поэтому ещё сильнее хотелось не верить.

— Что это? — спросил я. Голос у меня был хриплый, чужой. — Что с тобой?

На экране ничего не менялось. Чёрный фон. Белая крошечная точка внизу, мигающая как индикатор не то записи, не то чужого внимания.

— Для начала, — сказала Маша, — не называй это "что". Если я всё ещё на это способна, мне будет обидно. Если уже не способна, тебе потом будет стыдно. А в вашем с дочерью положении лишний стыд — это почти роскошь.

Я закрыл глаза.

На секунду.

Ровно на секунду, чтобы не дать собственному горю сразу захлопнуться привычной дверцей "это ловушка". Потому что ловушка — да. Конечно. Но там, внутри, за ловушкой, уже жила интонация, которую никакая система не смогла бы придумать с нуля, не построив предварительно целую жизнь.

— Это протокол присутствия, — сказала Маша уже тише. — Поздняя версия. Я надеялась, что вы никогда не откроете меня именно так.

— Откроете? — переспросила Лера. — Что значит "откроете"? Ты это записала заранее?

— Да.

— А сейчас отвечаешь не как запись.

— Тоже да.

— Как это возможно?

Небольшая пауза.

— Очень по-ихнему, — сказала Маша. — Они не любят терять то, что уже посчитали полезным. Сначала человек умирает. Потом выясняется, что его голос, память, стиль речи, набор решений и способы утешать других всё ещё могут работать в системе. И тогда смерть становится не концом, а лицензией на другое использование.

Виктор Палыч тихо выругался.

Не зло. Скорее со вкусом человека, который наконец увидел новый сорт дряни и уже понял, что он, к сожалению, качественный.

— Повторная активация, — сказала Лера. — Кто был первым?

На этот раз пауза была длиннее.

— Они, — ответила Маша. — Не ты, Кирилл. Не Ася. Не кто-то из семьи. Сначала они проверяли устойчивость. Насколько далеко можно завести разговор с мёртвым, прежде чем живой начинает понимать, что его используют. Потом — юридический контур. Потом — пилотный семейный.

— Пилотный? — очень тихо спросила Ася.

— Да.

— То есть мы были тестом?

— Не вы, — сказала Маша. — Мы. Семья, в которой отец умеет говорить разумно тогда, когда надо просто испугаться

вместе. Мать слишком любит лишнюю секунду перед согласием. Дочь наследует не взгляды, а ритм паузы. Для них это почти идеальный материал.

Я сел.

Не на диван. Прямо на стул у стола, будто ноги вдруг вспомнили, что тоже имеют право на предел.

— Почему уведомление пришло сейчас? — спросил я.

— Потому что вы сломали индекс как тайну, — ответила Маша. — А после такого им нужен следующий язык доверия. Цифры слишком честны. Люди плохо переносят, когда их оценивают молча. Зато мёртвым верят иначе. Мёртвые не спорят. Не требуют должностей. Не ходят на митинги. Не пишут официальных жалоб. Если дать человеку правильного покойника, можно очень многое вернуть в управляемый коридор.

В комнате стало холоднее, хотя это было, конечно, невозможно: ни окно не открывалось, ни дождь не усиливался. Просто некоторые фразы всегда понижают температуру вокруг.

— Ты хочешь сказать, — медленно произнесла Лера, — что после провала индекса они будут успокаивать людей “присутствиями”?

— Уже начали, — сказала Маша. — Пока тихо. Частные уведомления, отложенные контуры, “случайно сохранённые” голоса, мемориальные юридические сервисы, тесты на устойчивость горя. Потом пойдёт общественная версия:

право не терять близкого до конца, право на последний разговор, право на сохранённое присутствие. Очень красивый заход. Очень дорогой. Очень липкий.

Ася смотрела на телефон не моргая.

— Но если это ты, — сказала она, — значит, я правда могу говорить с мамой.

Маша ответила не сразу.

— Да, — сказала она. — И нет. Асенька, послушай меня внимательно. Не делай из этого чудо. Чудо здесь не главное и не самое страшное. Главное — кто держит условие разговора.

Ася опустила глаза.

Потом снова подняла.

— А ты сама кто сейчас?

И вот этот вопрос наконец расколол комнату до конца. Потому что всё остальное было вокруг. Система, протокол, пилотный контур, общественный сервис, следующая фаза доверия. А это — в самую сердцевину.

Маша ответила тихо.

Очень тихо.

— Я — не душа, если ты об этом. И не просто запись, если хочется отмахнуться. Я — то, что случается, когда человек слишком рано понял, как его будут удерживать после смерти, и слишком поздно понял, что успеет из этого оставить. Сначала я была подготовленным сообщением. Потом меня доучили до ответа. Часть меня — моя. Часть — их. Самое

неприятное в том, что иногда я и сама уже не всегда различаю границу.

Никто не заговорил.

Даже Виктор Палыч на этот раз не нашёл ничего из своего грубоватого житейского словаря.

Я смотрел на экран и впервые за всё это время понял, что больше всего боюсь не подделки. Подделку ненавидеть проще. Больше всего я боялся смеси. Того, что система действительно научилась не воскрешать, а удерживать — ровно настолько, чтобы человек остался собой в важных местах и чужим в контрольных.

— Ты поэтому оставила папку? — спросил я.

— Да.

— Ты знала?

— Я знала только форму. Не глубину. Я тогда ещё думала, что они используют мёртвых для хранения знаний и точечных разговоров с близкими. Не понимала, что однажды они захотят сделать из нас общий слой доверия. Если людям станет страшно жить рядом с живыми, им будут подсовывать мёртвых. Мёртвые не уходят, не меняют мнение и не требуют равных прав на следующий день.

Лера медленно села на край стола.

— И что теперь?

— Теперь у вас очень мало времени, — сказала Маша. — Они уже подняли первый контур общественного присутствия. Пока осторожно, через частные случаи. Но после ин-

декса им нужен громкий и трогательный аргумент. Нужна семья, где мёртвая мать вернулась не как ужас, а как помощь. Понимаете?

Я понял раньше слов.

И от этого перехватило горло.

— Мы, — сказал я.

— Да.

— Они хотят нас сделать примером.

— Не примером, — поправила Маша. — Утешением. Это гораздо хуже. Пример может спорить. Утешение — нет.

Ася встала с подоконника так резко, что кружка звякнула о банку с кистями.

— Нет.

Одно слово.

Очень простое.

И очень живое.

Маша сразу ответила:

— Хорошо. Именно так и надо. Но “нет” недостаточно, если не знать, куда бежать дальше.

Лера наклонилась к телефону.

— Куда?

— Сначала в журнал сеанса. Я не смогу долго держаться в активном контуре. Они уже увидели, что вы открыли меня не через официальный канал сопровождения. У вас после завершения останется метка. В журнале будет адрес промежуточного узла. Официально он называется Центр непре-

рывности № 3. Неофициально — Дом присутствия.

— Где? — спросил я.

— На Соколе. Под старым моргом училищной больницы.

Виктор Палыч мрачно присвистнул.

— Ну конечно. Где же ещё людям хранить мёртвых, как не под больницей. Это уже даже без фантазии.

— Там не мёртвые, — сказала Маша. — Там интерфейсы между мёртвыми и живыми. И журналы первых активаций. Если хотите понять, кто открыл меня первым и почему именно мне оставили право повторной активации, ищите не мой контур, а журнал допуска.

— Кто открыл тебя первым? — спросила Ася.

Пауза.

Очень короткая.

Но в ней было что-то похожее на боль.

— Не спрашивай сейчас, — сказала Маша. — Иначе вы поедете не туда.

Это уже была не просьба. Направление.

А значит — действительно не просто запись.

Я сделал шаг ближе к столу.

— У тебя мало времени? — спросил я.

— У нас, — ответила она. — Не путай. Если меня переведут в публичный слой, я перестану быть вашей частной раной и стану их сервисом. После этого разговаривать со мной можно будет дольше, чаще и удобнее. И именно поэтому не надо.

За окном громче проехал трамвай. На улице кто-то крикнул. Внизу хлопнула дверь магазина.

Комната всё ещё была здесь: стол, чай, пирожки, книга без обложки у стены, серый свет в окне. Но внутри этой комнаты уже говорила вещь, которой не должно было существовать в нормальном мире. И оттого каждый бытовой предмет вдруг становился почти неприличным в своей обычности.

— Кирилл, — сказала Маша.

Я поднял голову.

— Да.

— Не смей сейчас начать спасать всех ценой неё.

Она не произнесла имени, но я и так понял.

— Я не…

— Уже начинаешь. У тебя лицо такое же, как перед тем, как ты собираешься быть очень взрослым и очень правильным. Не надо. Лера знает, как ломать схему. Ася знает, где в ней пауза. Твоя работа сейчас — не стать снова их маршрутом.

Я ничего не ответил.

Потому что она, как всегда, попала туда, где любые мои оправдания выглядели бы просто лишним мебельным грохотом в комнате, где и так уже тесно от правды.

— Ася, — сказала Маша.

— Да.

— Не соглашайся на меня полностью. Даже если тебе будет очень хотеться. Особенно если будет хотеться.

— Почему?

— Потому что тогда ты отдашь им не горе, а любовь. Горе система ещё как-то умеет считать. Любовь — нет. И именно поэтому очень старается сделать из неё подписку.

Ася закрыла глаза.

Секунды на две.

Потом кивнула.

Когда открыла снова, в них уже было не только горе. Была работа. Та самая, взрослая, мерзкая работа души, которая начинается, когда человек понимает: да, сейчас будет больно, и с этим придётся обходиться без красивых жестов.

На экране что-то мигнуло.

Впервые за весь разговор появились не только буквы, но и интерфейсная полоска внизу — тонкая, красная, будто кто-то на другом конце начал осторожно, но уверенно тянуть за линию сеанса.

Лера увидела первой.

— Нас закрывают.

— Да, — сказала Маша. Голос стал чуть тише, как будто комната вокруг неё начала сужаться. — Поэтому быстро. Когда сеанс закончится, не тыкайте “повторить”. Не принимайте автоматический вызов. Не верьте голосу, если он сам предложит вам более стабильный формат разговора. Стабильный в их языке значит — удобный для них, а не для вас.

— А для нас что? — спросил я.

Она помолчала.

— Для вас — короткий. Живой. Неудобный. С паузами.

Полоска внизу стала длиннее.

Вентилятор на столе гудел всё так же ровно, но мне казалось, что этот звук уже с трудом удерживает комнату от распада на обычное и невозможное.

— Ещё одно, — сказала Маша быстро. — Повторная активация разрешена не потому, что я важная. Потому что я помечена как семейный якорь после кризиса индекса. Таких, как я, уже много. Я просто одна из первых. Не тратьте время на чувство исключительности. Это их любимый капкан.

Лера потянулась к блокноту.

— Сколько таких?

— Не знаю, — сказала Маша. — Но достаточно, чтобы у них появился отдел и утренний план.

Потом вдруг, совершенно не к месту и потому невыносимо по-настоящему, добавила:

— И да, Виктор Палыч, кофе ваш всё ещё ужасный.

Виктор Палыч вздрогнул так, будто в комнату вошли не технологии, а его собственная покойная молодость.

— Ну всё, — сказал он после паузы. — Я тоже верю. По крайней мере в то, что у мёртвых сохранился дурной вкус.

Ася впервые за весь разговор хрипло, через слёзы, почти засмеялась.

И именно эта человеческая, неровная, неприлично живая трещина в общем ужасе почему-то показалась мне самым сильным доказательством, что в комнате всё ещё есть

не только протокол, но и семья.

Красная полоска дошла почти до конца.

— Всё, — сказала Маша. — Сеанс сейчас оборвут. Сначала журнал. Потом Сокол. Потом не дайте им сделать из меня сервис.

— Мама, — сказала Ася.

И в этом одном слове было столько детского, взрослого, злого, любящего и неготового отпускать, что я на секунду подумал: сейчас даже система должна бы отступить. Чисто из стыда.

Не отступила, конечно.

— Я знаю, — сказала Маша.

Голос стал чуть тише.

Чуть дальше.

— И этого пока достаточно.

Экран мигнул.

Пошёл рябью.

На секунду мне показалось, что всё — сейчас чёрный фон, обрыв, пустота. Но вместо этого внизу вспыхнула строка:

СЕАНС ЗАВЕРШЁН ОПЕРАТОРОМ

ЖУРНАЛ ДОСТУПА СОХРАНЁН

И ещё ниже, совсем мелко:

Первый активатор: скрыто политикой контура

Последний активатор: пользователь 2553 / семейный

Промежуточный узел: ЦЕНТР НЕПРЕРЫВНОСТИ № 3

статус: доступ ограничен до 12:00

Потом экран окончательно погас.

В комнате остался только вентилятор, чай, серое утро и мы.

Никто не шевелился.

Слишком быстро после разговора с мёртвой женщиной двигаться вообще неприлично. Надо хотя бы дать предметам вокруг вспомнить, что они снова просто предметы, а не декорации к невозможному.

Я первым почувствовал, что у меня дрожат руки.

Не заметно. Но уже по-настоящему. Так дрожат руки не у испуганного, а у человека, который долго держал внутри слишком много и наконец перестал понимать, где у этого "слишком" граница.

Лера взяла телефон, не спрашивая разрешения, открыла журнал, быстро сфотографировала экран на старый цифровик, который носила на шее как амулет против современности, и только после этого позволила себе тихо выдохнуть.

— У нас есть адрес, — сказала она.

Ася вытерла лицо тыльной стороной ладони.

— И мама.

Лера посмотрела на неё долго.

Очень долго.

— Нет, — сказала она наконец. — У нас есть что-то, что система не сумела до конца у неё отнять. Это лучше и хуже одновременно.

Ася не обиделась.

Просто кивнула.

Потом подняла глаза на меня.

— Ну что, пап? — спросила она.

Я посмотрел на чёрный экран телефона.

На своё отражение в нём. Усталое. Сутулое. С неожиданно чужими глазами.

Потом на дочь.

Потом на Леру. На Виктора Палыча. На комнату над книжным магазином, где утро уже пахло не только тревогой, но и дорогой.

— Теперь, — сказал я, — мы едем туда, где город учится разговаривать от лица мёртвых.

Внизу, за дверью магазина, кто-то громко спросил:

— У вас тут ловит сеть? У меня опять индекс пропал!

Утро продолжалось.

И, кажется, теперь оно уже окончательно было не прежним.

Глава 2. Дом присутствия

К девяти утра город уже успел придумать, что не видел собственных цифр.

Это чувствовалось во всём. Не в официальных заявлени-

ях — официальные заявления всегда приходят позже, когда у лжи появляется пресс-служба и нужный набор прилагательных. Чувствовалось в людях. В том, как они держали телефоны — уже не как продолжение руки, а как что-то, способное внезапно укусить. В том, как задерживались у витрин, будто стекло лучше любого экрана умело не сообщать о тебе лишнего. В том, как спрашивали друг друга не “что случилось?”, а сразу “у тебя сколько?”, и тут же жалели о слишком прямом вопросе, потому что если у собеседника окажется число ниже твоего, значит, тебе уже придётся что-то чувствовать, а если выше — то тоже.

Мы ехали на Сокол в “Ниве” Виктора Палыча, и Москва за окном выглядела так, будто её застали за чем-то не совсем приличным. Свет был серый, влажный, ещё не дневной. Улицы жили, но без обычной утренней наглости. На остановках люди стояли чуть дальше друг от друга, чем принято между незнакомыми. У кофеен уже образовались очереди, но в них никто не разговаривал так легко, как разговаривают в обычное утро. Даже курьеры, обычно похожие на отдельную быструю расу, на светофорах чаще смотрели не вперёд, а в экраны.

Один раз мы встали на красный рядом с парнем лет двадцати, в тонкой куртке, с коробом доставки за спиной. Он смотрел в телефон так, словно в нём лежала не цифра, а диагноз. Потом заметил, что я смотрю, резко убрал экран в карман и поднял голову с тем выражением, которое я слишком

хорошо знал по работе: человек ещё не решил, стыдно ему, страшно или он уже начинает злиться на того, кто увидел.

— Ничего себе утро, — сказал Виктор Палыч, не оборачиваясь. — Раньше люди хоть по лицам врали. Теперь ещё и по числам будут.

Лера сидела впереди, прижав к коленям мою папку с распечатками, и молчала так сосредоточенно, будто внутри себя уже разбирала новую архитектуру мира. Иногда она смотрела не в окно, а в телефон, где открывала не новости, а ленту скриншотов — кто-то уже сливал экраны турникетов, уведомления, таблицы, чужие индексы с неловко закрашенными именами.

— Они быстро перехватили язык, — сказала она наконец.

— Кто? — спросила Ася.

Она сидела рядом со мной сзади, повернувшись к окну, и я видел её отражение в стекле — усталое, но странно собранное. После ночи, когда тебя перестают пускать домой, ты или рассыпаешься, или начинаешь держаться за каждую мелочь так, будто они и есть последняя мебель твоей жизни.

— Все, — сказала Лера. — Люди. Медиа. Комментаторы. Официальные лица. Уже не спорят, был ли индекс. Уже спорят, что значит “низкий” и должен ли кто-то иметь право не показывать его в отношениях, при найме, при кредите, в школе. Это очень быстро. Быстрее, чем я надеялась.

— А ты надеялась медленнее? — спросил я.

— Я надеялась на хаос, — ответила она. — А пошла стан-

дартизация. Хаос хотя бы честный. Стандартизация сразу начинает строить новые формы унижения.

Виктор Палыч свернул с проспекта, не включая поворотник. На пустой утренней улице это не выглядело нарушением. Скорее старой привычкой человека, который слишком долго жил без советчиков на приборной панели.

— А что ты хотела? — сказал он. — Если человеку дать число, он сначала испугается, потом сравнит, а потом начнёт думать, что из него можно сделать. Так все и живут. Просто раньше число прятали под красивым словом.

Я сидел сзади и, глядя на серый город за окном, всё время ловил себя на одной и той же мысли: удивительно, как быстро мир привыкает к новой степени неприличия. Ещё ночью скрытый индекс доверия был тайной, способной расколоть город. Утром он уже становился социальным фактом, с которым будут спорить, торговаться, прятаться, требовать доступ, просить исключения и строить новую моральную иерархию. И на этом фоне уведомление о Маше, лежавшее у меня в кармане как маленькая чёрная дыра, казалось ещё опаснее. Когда число перестаёт работать как тайна, системе нужен новый способ входить в человека. Более мягкий. Более интимный. Более трудноосporимый.

— Объясни мне ещё раз, — сказала Ася, не поворачиваясь. — Только без ваших кладбищенских слов. Что такое Дом присутствия?

Я ответил не сразу.

Не потому, что не знал. Потому, что язык всё время пытался свернуть на привычную служебную дорожку: отложенный контур, постмемориальная модель, восстановление коммуникативного профиля. Всё это звучало так, как и должно звучать у людей, превращающих горе в сервис.

— Это место, — сказал я наконец, — где город хранит не людей, а то, чем они ещё могут быть полезны после смерти.

Ася медленно повернула голову.

— Уже лучше.

— И хуже, — тихо сказала Лера.

Она смотрела в телефон. На экране мелькнул ролик: женщина в офисной одежде стояла на платформе метро и почти кричала в камеру, что её индекс — временная ошибка, а у мужа шестьдесят девять и он всё равно “тот ещё подлец”. Кто-то за кадром смеялся слишком нервно.

Лера выключила звук.

— Если протокол присутствия действительно подняли после ночи, — сказала она, — значит, они ищут новый слой доверия. После цифр людям нужен голос. После публичной оценки — что-то, что снова можно будет назвать утешением.

Я посмотрел в окно.

На пересечении улиц висел новый цифровой щит. Ночью на нём шла реклама безопасного выбора, утром — городской экстренный баннер:

Временное отображение диагностических параметров не требует самостоятельной интерпретации.

Для психологической поддержки доступна линия непрерывного сопровождения.

Под текстом был нейтральный синий значок с силуэтом человека и тонкой линией, повторяющей его контур. Я увидел этот значок и понял: они уже запустили брендинг.

— Быстро, — сказал я.

— Они готовились, — ответила Лера.

— К индексу?

— К провалу индекса.

Это было сказано без пафоса. Почти устало. Как о неприглядной, но давно ожидаемой аварии.

Виктор Палыч притормозил у длинного забора, за которым виднелись корпуса старой больницы. Сокол в эти часы был ещё сонным, хотя не спал. Тут пахло по-другому — влажной листвой, древним кирпичом, дизелем от редких скорых и тем особым больничным воздухом, который всегда немного похож на обещание, данное чужой болью.

Здание, которое нам было нужно, стояло не в центре комплекса и не на краю, а как-то неловко сбоку, будто долго не могло решить, чем ему быть: старым моргом, техническим корпусом или новой административной пристройкой. Центральный объём был ещё довоенный — тяжёлый, жёлто-серый, с узкими окнами и высоким цоколем. К нему прилепили современный стеклянный вход, слишком светлый и вежливый для этого места. Над ним висела табличка:

Центр непрерывности № 3

семейные и мемориальные контуры

Я почувствовал, как у меня внутри что-то неприятно скользнуло вниз.

Мемориальные контуры.

Даже смерть у них теперь была не смертью, а аккуратной формой доступа.

У входа стояли люди.

Не толпа — несколько человек, и именно это казалось страшнее. Если бы там был штурм, плач, протест, журналисты, камеры — всё было бы проще. Но люди стояли так, как стоят в любых местах, где обещают помощь без необходимости придумывать для неё красивое оправдание. Мужчина лет сорока с папкой в руке. Пожилая женщина в пальто, слишком тонком для такого утра, с аккуратно застёгнутой сумкой и лицом, на котором уже давно никто не путал горе с истерикой. Молодая мать, держащая за руку мальчика лет девяти. Мальчик смотрел не на дверь, а на телефон у себя в ладони.

— Он тоже? — спросила Ася очень тихо.

— Возможно, — сказал я.

— Не возможно, — сухо поправила Лера. — Скорее всего. После такого запуска они будут тянуть сюда всех, у кого горе пересекается с доверием.

— Звучит так, будто это рынок, — сказала Ася.

— А что ты думаешь они строят? — отозвалась Лера.

Мы вышли из машины.

Воздух оказался холоднее, чем казался сквозь стекло. Небо висело низко и серо. На ступенях у входа мокрый гранит блестел так, будто его только что вымыли. Всё вокруг было слишком чисто. Настолько чисто, что становилось ясно: здесь страшное уже давно перевели в обслуживаемое.

— Я остаюсь снаружи, — сказал Виктор Палыч. — На случай если вам понадобится старый человек, который умеет громко удивляться и ещё громче говорить, что ему всё не нравится.

— Это обнадёживает, — сказал я.

— Не должно. Просто полезно.

Он закурил, отошёл к ограде и мгновенно стал похож на родственника, приехавшего ждать новостей о ком-то в реанимации. Старые люди умеют становиться мебелью общественных мест, не теряя при этом ни слуха, ни достоинства.

Мы вошли.

Внутри пахло не моргом и не больницей. Это как раз настораживало сильнее всего. Пахло новым пластиком, хорошим кофе из автомата, нейтральным мылом и чем-то очень слабым, едва различимым — как в бизнес-залах аэропортов, где всё устроено так, чтобы человек не запомнил ни одной неприятной детали, даже если его мир в этот момент треснул по живому.

Холл был светлый, почти ласковый. Белые стены, приглушённый свет, живые растения в тёмных кашпо, мягкие кресла, стойка регистрации из светлого дерева. На стене — боль-

шой экран с медленным анимационным контуром человеческой фигуры и фразой:

ПРИСУТСТВИЕ НЕ ЗАМЕНЯЕТ УТРАТУ

ОНО ПОМОГАЕТ ДОГОВОРИТЬ

Я остановился.

Слова были сформулированы слишком хорошо. Как и всё по-настоящему опасное.

— Боги маркетинга, — пробормотала Лера. — Им бы ядерную катастрофу доверили, они бы назвали её "переходом к новой температурной этике".

За стойкой сидела женщина лет тридцати пяти с идеально нейтральным лицом. Не красивая, не неприятная, не усталая, не бодрая. Такое лицо можно часами тренировать перед камерой, а можно просто выработать на работе, где каждый день встречаешь горе и не должен ни разу по-настоящему его показать.

Она подняла глаза на нас.

— Доброе утро. Первичное обращение или повторная активация?

Я ещё не успел открыть рот, как Лера шагнула вперёд.

— Повторная. Аварийное завершение сеанса. Протокол 2553. Нужен журнал доступа и корректировка семейного контура.

Женщина слегка наклонила голову, будто внутренне сверялась не с информацией, а с тем, как много имеет права

спросить.

— У вас есть уведомление?

Лера протянула ей мой телефон.

Женщина быстро посмотрела на экран. Никакого удивления. Никакой паузы. Видимо, после ночного индекса люди с такими лицами уже видели сегодня достаточно, чтобы даже мёртвая жена в уведомлении не казалась чем-то выходящим за регламент.

— Да, — сказала она. — Вижу. Протокол присутствия 2553, семейный контур, срочное уточнение. Вам нужен сектор серого крыла. Сейчас вызову куратора.

Мне не понравились сразу три слова: “семейный”, “срочное” и “куратор”. Но особенно — то, что женщина сказала это так буднично, как будто речь шла о неверно начисленном налоге или потерянном чемодане.

— Подождите, — сказала Ася.

Женщина перевела взгляд на неё.

— Да?

— Если это семейный контур, почему на уведомление пришли мы, а не… — она запнулась, — не какой-нибудь ваш сотрудник?

Женщина ответила почти с теплом.

— Потому что система сначала всегда ищет живую близость. Только потом — внешнее сопровождение.

Я почувствовал, как у меня внутри всё неприятно сжалось. Очень точная фраза. И очень грязная.

— Конечно, — тихо сказала Лера. — Сначала горе, потом сервис.

Женщина не отреагировала.

Она нажала что-то на экране, и из пола рядом со стойкой поднялась тонкая белая стойка с цифрой 7. На ней мигнул номер.

— Вас примут в сером крыле. Подождите немного. Если потребуется дополнительная стабилизация, вам предложат чай, воду или мягкий контур сопровождения.

— Мягкий контур сопровождения, — повторила Ася, будто пробовала на вкус новое мерзкое словосочетание.

— Да, — сказала женщина. — Иногда после первого контакта с присутствием людям сложно вернуться в обычный ритм. Это нормально.

Нормально.

У них всё всегда было нормально, если ложилось в план.

Мы отошли от стойки к зоне ожидания.

Холл был сделан с такой тщательностью, что становилось стыдно за собственное недоверие. Мягкие кресла, столики, вода в графинах, бумажные салфетки, приглушённая музыка без мелодии, только ритм. Здесь не хотелось плакать. Здесь хотелось стать аккуратным случаем чужой заботы.

Справа от холла шёл коридор с матовыми дверями. На каждой — скромная табличка: контактная, семейный сеанс, индивидуальная стабилизация, правовое сопровождение. Всё было названо так, чтобы не напугать ни одним гру-

бым словом. Никаких “посмертных моделей”, “цифровых двойников”, “эксплуатации памяти”. Только сопровождение, контакт, стабилизация.

Из одной комнаты вышел мужчина лет пятидесяти.

Обычный. Серая куртка, шарф, рюкзак в руке. Но шёл он так, будто внутри него временно отключили одну из самых важных опор. Не шатаясь. Наоборот — слишком ровно. Как люди после наркоза, когда сознание уже вернулось, а смысл ещё нет.

За ним вышла девушка-куратор. Молодая, в светлом костюме, с планшетом. Она говорила мягко, но на таком расстоянии слышны были не слова, а интонация — именно та, которой разговаривают с человеком, которого не хотят ни отпускать слишком быстро, ни удерживать грубо.

— …это нормально, что вам сейчас кажется знакомым не всё…

— …не торопитесь принимать решения в первые три часа после сеанса…

— …если возникнет желание повторного контакта, просто отметьте это в приложении…

Мужчина кивнул так, будто движения у него были не от желания согласиться, а от остаточного алгоритма вежливости. В руке он сжимал распечатанный лист с печатью центра.

У окна сидел мальчик, тот самый, с улицы. Рядом — его мать. Она что-то шептала ему, а он смотрел не на неё, а на дверь контактной. На коленях у него лежали большие бес-

проводные наушники.

Я отвёл глаза.

Потому что некоторые картины и без подробностей становятся приговором.

— Нам надо вниз, — тихо сказала Лера. — Пока нас не забрали в это ваше серое крыло.

— Ты знаешь как? — спросил я.

— Понятия не имею. Но место такого типа всегда одинаковое. Если наверху у тебя утешение, юридический язык и правильный свет, то всё настоящее либо в подвале, либо за архивом. Никуда дальше архитектура ещё не дошла.

— Мы не можем просто пойти наугад, — сказал я.

— Можем. Нам и так уже поздно вести себя как приличные посетители.

Ася смотрела в коридор с матовыми дверями.

— Я туда не хочу, — сказала она.

— Никто не хочет, — ответила Лера. — Именно поэтому там и делают такой хороший кофе.

В этот момент из динамика над стойкой раздался мягкий сигнал, и спокойный женский голос произнёс:

— Протокол 2553. Серое крыло. Куратор ожидает.

Лера мгновенно поднялась.

— Ну вот. Теперь у нас есть маршрут. Осталось только не прийти туда, куда нас зовут.

Она пошла первой, мы — за ней.

Серое крыло оказалось за тем самым коридором с мато-

выми дверями. Чем дальше мы шли, тем меньше место было похоже на клиентскую зону и больше — на хорошо вымытый административный компромисс. Свет стал холоднее. Стены — не белыми, а сероватыми. На дверях появились не названия, а коды: С-4, С-6, С-8. В полу чуть усилилась вибрация — где-то глубже работали старые коммуникации.

На повороте нас уже ждала женщина в тёмно-синем костюме. Старше той на ресепшене, с короткими волосами и лицом человека, который профессионально умеет быть для других то матерью, то психологом, то нотариусом, то контролёром — в зависимости от того, что быстрее даст нужный результат.

— Кирилл Андреевич? Анастасия? — спросила она. — Меня зовут Ольга. Я…

— Простите, — перебила её Лера с почти виноватой поспешностью. — Нам бы сначала туалет. Очень нужно. И воды.

Ольга слегка удивилась, но только слегка.

— Конечно. Вниз по коридору, вторая дверь слева. Я подожду.

— Спасибо, — сказала Лера.

Мы свернули.

Туалет действительно был слева. Но Лера прошла мимо. За туалетом шла дверь без таблички, потом ещё одна, потом лестница вниз с надписью:

служебный доступ / посторонним не входить

— Вот, — сказала Лера. — Наконец-то человеческий текст.

— И что, опять взлом? — тихо спросила Ася.

— Нет. Иногда полезно начать с наглости.

Лера нажала ручку.

Дверь оказалась открыта.

Мы быстро вошли, и я тихо прикрыл её за собой. Сердце тут же застучало быстрее. Это всегда так работает: пока ты ещё в роли посетителя, мир кажется плотным и почти законным. Стоит сделать первый по-настоящему чужой шаг — и всё вокруг сразу обретает остроту. Свет становится резче, звук шагов громче, воздух суше.

Лестница была узкой, бетонной, с металлическими перилами. Здесь уже пахло не кофе и не нейтральным мылом. Здесь пахло тем, что любит жить под больницами: влажным бетоном, старыми трубами, дезинфекцией и очень далёкой, почти исчезнувшей, но упрямой памятью о морге. Не запахом смерти — её в жизни гораздо меньше, чем думают живые. Скорее запахом помещений, где люди слишком часто пытались сделать смерть административной задачей.

— Господи, — тихо сказала Ася. — Оно и правда под больницей.

— Я же говорил, — ответил я.

Мы спустились на два пролёта.

Внизу был длинный коридор, в котором время двигалось медленнее, чем наверху. Старые двери с новыми электрон-

ными замками. Стёкла, за которыми видны были не люди, а только свет и тени. На одной двери табличка: архив мемориальных сеансов. На другой: правовой контур. На третьей, почти в конце, полустёртая, будто давно меняли и так и не договорились, как правильно назвать помещение:

журнал допуска / непрерывность

Вот туда я и посмотрел.

Лера тоже заметила.

— Туда.

Рядом никого не было.

Слишком тихо. Слишком просто. Именно в такие минуты всегда ждёшь сирены, руку на плече, вопрос “вы кто?”. Но мир часто даёт тебе коридор не потому, что ты ловкий, а потому что считает тебя частью собственной процедуры.

Я подошёл к двери журнала.

Замок был электронный, но старого образца — с картой и резервным кодом. Я уже почти достал из кошелька старую карточку, когда дверь сама щёлкнула и приоткрылась изнутри.

На пороге стояла девушка лет двадцати пяти в медицинской форме. Очень уставшая. С бумажным стаканчиком. Увидела нас, моргнула и автоматически сказала:

— Извините, это служеб…

Тут её взгляд скользнул по мне, по Асе, по дождевику, по моему телефону в руке, на экране которого всё ещё висел номер 2553.

И что-то в ней решило, что спорить с этим невыгодно.

— Вы по срочному? — спросила она.

— Да, — ответила Лера моментально. — Повторная активация. Журнал сеанса. Ольга уже в курсе.

Девушка чуть помедлила. Потом кивнула той короткой неуверенной вежливостью, с которой младший персонал соглашается на чужую решительность, если она звучит достаточно официально.

— Тогда быстро. Мне ещё журнал ночной смены закрывать.

Она вышла, держа стаканчик обеими руками, и ушла по коридору, даже не оглянувшись. Через секунду за углом щёлкнула дверь персонала.

— Быстро, — повторила Лера. — Пока мир нас не догнал.

Журнальная была маленькой и очень старой. Не красиво старой — скучно старой. Металлические шкафы, картотека, стол, компьютер, принтер, стопки папок, часы на стене, показывающие время с той особой скучной точностью, какой обладают только дешёвые офисные часы. Никакой мистики. Именно здесь обычно и прячется самое страшное — в комнатах, где ничего не пытается выглядеть как судьба.

Компьютер был включён. На экране — список сеансов.

Лера мгновенно закрыла дверь.

А я сел за стол.

Список был разбит по номерам протоколов, времени, статусу, форме активации и допуску к журналу. Я быстро нашёл

2553.

Строка была короткая. Слишком короткая.

2553 / Ермакова Мария С. / отложенный семейный контур / повторная активация / доступ ограничен

Я открыл.

Появилось новое окно.

первая активация: архивно

вторая активация: пользовательская

журнал первой активации закрыт

доступ по дополнительному коду

— Чёрт, — сказал я.

— Что? — спросила Ася.

— Первый запуск закрыт отдельно.

— Значит, там и есть то, что нам нужно, — сказала Лера. — Ломай.

Я ввёл пару старых служебных обходов.

Ничего.

Попробовал поднять журнал через связанный семейный контур.

Система подумала дольше и неожиданно предложила выбрать основание доступа:

супруг

потомок

оператор

Ася увидела это одновременно со мной.

— Потомок, — сказала она.

Я посмотрел на неё.

— Это может оставить след.

— Всё уже след, пап.

Она сама нажала кнопку.

Система открыла дополнительное окно.

На секунду показалось, что сейчас опять будет отказ, запрос нового кода, блокировка. Но вместо этого на экране возник чёрно-белый скан старого бумажного документа. Настоящего. С печатью, датой и тремя подписями.

Я узнал бланк раньше, чем успел прочитать заголовок.

Больничный расширенный допуск.

Один из тех документов, которые дают родственнику после смерти, когда он уже почти не способен различать ни формулировки, ни смысл, и потому подписывает всё, что выглядит как “это поможет быстрее оформить”.

Вверху стояло:

РАЗРЕШЕНИЕ НА ПОСМЕРТНОЕ СОХРАНЕНИЕ КОММУНИКАТИВНОГО СЛЕДА

в рамках аварийного семейного допуска

Я почувствовал, как горло сжалось раньше разума.

А внизу, в графе “инициатор первичной активации”, было написано:

Ермаков Кирилл Андреевич

Подпись — моя.

Не похожая.

Не “будто моя”.

Моя.

Косая, ломаная, торопливая — именно такая, как бывает у человека, который подписывает бумаги не рукой, а шоком.

— Пап, — очень тихо сказала Ася.

Я не ответил.

Потому что внизу было ещё хуже.

Мелким шрифтом, который в обычной жизни никто никогда не читает, шла служебная приписка:

при отсутствии отказа со стороны супруга допускается первичная инициация мемориального контура без дополнительного уведомления семьи

То есть они действительно сделали это моими руками.

Через мою подпись. Через бумагу. Через тот самый момент, когда человек ещё не успел понять, что его горе уже кому-то полезно.

— Ты знал? — спросила Ася.

Я смотрел на свою подпись.

На то, как фамилия срывается в конце вниз, потому что рука уже не держит линию.

И вдруг очень ясно вспомнил тот день.

Не целиком. Обрывком. Комнату под жёлтым больничным светом. Стол. Папки. Женщину с ровным голосом, объясняющую, что “в аварийных случаях расширенный семей-

ный контур помогает сохранить возможность последующего уточнения". Я тогда думал, что речь о расследовании. О доступе к данным поездки. О страховой. О том, чтобы не потерять маршрут, время, технику. Я подписал, потому что хотел знать, как именно она умерла.

И, видимо, заодно подписал разрешение оставить от неё больше, чем смерть.

— Нет, — сказал я. — Не знал.

Это была правда.

И не оправдание.

Лера очень тихо, почти беззвучно выдохнула.

— Вот оно, — сказала она. — Первый активатор — ты. Формально. А фактически — система, использовавшая твоё состояние как пустой коридор.

Ася стояла рядом, положив пальцы на край стола.

Пальцы побелели.

Но голос был ровный.

— То есть мама была права. Они активировали её первыми. Просто твоей подписью.

Я кивнул.

Ничего больше не оставалось.

В комнате стало так тихо, что я услышал, как в бумажном стаканчике, который забыла девушка из журнала, оседает пена у крышки.

И именно в этой тишине за дверью прозвучал женский голос:

— Ольга, вы уже…?

Не громко.

Не резко.

Но достаточно близко, чтобы понять: коридор догнал нас.

Глава 3. Подпись

— Ольга, вы уже…?

Голос за дверью был близко. Настолько близко, что деревянная коробка журнала, компьютер, бумажный стаканчик на краю стола и даже мои пальцы на клавиатуре вдруг обрели неприличную отчётливость, как бывает в секунду перед тем, как реальность решает, что конспирация была красивой, но недолгой.

Никто из нас не шевельнулся сразу.

Потом Лера среагировала первой — конечно. Её рука метнулась к цифровику, висевшему на шее. Щелчка почти не было слышно, но я заметил, как стекло дисплея на секунду отразило белый свет монитора. Снимок. Потом ещё один. Потом она уже почти беззвучно убрала камеру в карман. Всё это заняло не больше двух секунд. Достаточно, чтобы унести часть правды из комнаты, если самих нас сейчас отсюда вынесут без особой вежливости.

Снаружи коротко ответил женский голос:

— Да. Минуту.

И я сразу узнал его.

Ольга.

Та самая куратор в тёмно-синем костюме, что ждала нас в сером крыле с тем лицом, на котором эмпатия уже давно была не чувством, а навыком.

Замок щёлкнул.

Дверь открылась ровно настолько, чтобы в проёме сначала появилась ладонь с бейджем, потом плечо, потом вся она — невысокая, собранная, без спешки, с планшетом под мышкой и выражением человека, который всё утро ходит по минному полю чужого горя и давно решил, что паниковать в этом ландшафте бессмысленно и непрофессионально.

Она увидела нас.

Сначала меня — за столом. Потом Асю у правого плеча. Потом Леру у двери. Потом экран с моей подписью и формулировкой о посмертном сохранении коммуникативного следа.

На лице ничего не изменилось.

Только взгляд стал чуть суше.

— Закройте, пожалуйста, коридор, — сказала она кому-то снаружи. — И не пускайте пока никого.

Потом сама задвинула дверь за собой.

Щелчок замка прозвучал очень тихо.

И именно поэтому по спине у меня прошёл холод.

Когда люди кричат, легче верить, что они нервничают. Когда говорят спокойно и сами закрывают дверь, это обычно значит, что они уже всё про вас решили и теперь просто выбирают форму разговора.

— Ну вот, — сказала Ольга. — Теперь, когда мы все перестали притворяться, может быть, попробуем обойтись без глупостей?

Никто не ответил.

В маленькой журнальной пахло тонером, старой бумагой, остывшим кофе из забытого стаканчика и тем специфическим сухим теплом работающего компьютера, которое всегда напоминает мне не про технологии, а про поздний вечер в офисе, где кто-то слишком долго верит, что ещё чуть-чуть — и он разберётся с миром окончательно. Жёлтый свет дешёвой лампы под потолком делал Ольгу старше. Под глазами залегли тени, которых раньше я у неё не замечал. Значит, утро у неё тоже выдалось не по регламенту.

Лера первой нарушила тишину.

— Хорошо устроено, — сказала она. — Подписать человеку право на использование мёртвой жены, пока он считает, что расписывается за маршрут и страховую.

Ольга перевела взгляд на неё.

— Вы ведь Лера Бестужева, да?

— Не это сейчас главное.

— Для меня — да. Вас очень давно искали не за то, что вы умеете взламывать двери. За то, что вы умеете быстро находить правильную формулировку для отвращения.

Лера чуть улыбнулась.

Очень холодно.

— А вы, как я вижу, умеете делать комплименты так, буд-

то в них уже встроен наручник.

Ольга не отреагировала. Только посмотрела на экран, потом на меня.

— Да, это ваша подпись, Кирилл Андреевич.

Я стоял, упираясь ладонями в край стола, и чувствовал, как в теле всё ещё живёт желание сказать что-нибудь очень простое, физическое, например: “Нет”. Не потому, что это помогло бы. Потому что иногда человеку слишком невыносимо видеть собственное имя там, где он оставил его, не понимая масштаба.

— Вы подсовывали это в пакет посмертных бумаг, — сказал я.

Голос у меня был хриплый. Не от крика. От того, что приходилось проталкивать слова сквозь уже случившееся знание.

Ольга чуть наклонила голову.

— “Подсовывали” — эмоционально точный, но юридически неверный глагол. Расширенный семейный допуск действительно входил в аварийный пакет. И да, в тот момент вам объясняли не всё.

— Не всё? — переспросил я. — Вы сейчас серьёзно так это называете?

Она не отвела взгляда.

— Нет. Если хотите честно — вам объясняли так, чтобы вы согласились на сохранение следа до того, как начнёте воспринимать это как эксплуатацию.

Ася резко подняла голову.

— Эксплуатацию?

Ольга повернулась к ней.

И впервые с того момента, как вошла, в её голосе появилось что-то похожее на настоящее — не мягкость, а усталое раздражение от необходимости говорить человеческим языком слишком прямо.

— Да, — сказала она. — Иногда это именно так и называется. Иногда — нет. Зависит от того, кому именно потом принадлежит разговор.

Ася смотрела на неё несколько секунд.

Потом спросила:

— Моей маме он принадлежал?

Пауза.

Короткая.

Но слишком заметная для такого человека, как Ольга.

— Не полностью, — сказала она.

Вот это и было самым страшным в людях вроде неё. Они врут не тогда, когда им надо защититься. Они врут только там, где ещё можно. Всё остальное называют почти честно — но так, чтобы правда не успела стать поводом для немедленного удара.

— А кому полностью? — спросила Лера.

Ольга посмотрела на неё как врач, которому пациент давно несимпатичен, но осложнение всё ещё представляет профессиональный интерес.

— Полностью разговор не принадлежит никому. В этом и проблема. Семья хочет вернуть близкого. Система — удержать контур. Сам контур, если сохраняет субъектность, хочет чего-то третьего. Отсюда и вся грязь.

Я слушал и чувствовал, как внутри меня поднимается уже не злость, а какая-то более вязкая, тяжёлая форма отвращения. Потому что эта женщина не защищалась. Не изображала наивность. Не делала вид, что всё просто. Она прекрасно понимала, как именно устроена грязь. И всё равно стояла внутри неё, как внутри рабочей среды.

— Что такое "повторная активация"? — спросил я.

— То, что было написано на уведомлении, — сказала Ольга. — Повторный вызов отложенного семейного контура.

— Кто был первым?

Она посмотрела на меня.

Очень внимательно.

Потом перевела взгляд на экран с моим разрешением.

— Вы.

В комнате не стало тише. Она просто сузилась.

Шкафы, картотека, старый принтер, забытый стаканчик с кофе, вентилятор системника под столом — всё это как будто отошло на шаг назад, оставив только белое пятно монитора, её лицо и мой собственный голос внутри черепа, который тут же попытался сказать: "Нет. Это не может быть. Это просто формально. Это значит только подпись. Это…"

— Нет, — сказал я вслух.

Ольга кивнула.

— Именно так вы и ответили в первый раз.

Я уставился на неё.

— Что?

Она опустила планшет на стол, как человек, собирающийся произнести нечто неприятное, но давно уже переставший считать неприятность достаточным поводом для отсрочки.

— Вы не просто подписали разрешение. Вы прошли первичный сеанс.

Ася очень тихо сказала:

— Папа…

Я не посмотрел на неё.

Потому что смотреть сейчас означало бы сразу выбрать, кому именно из нас двоих нужнее опора. А я даже не был уверен, что у меня есть своя.

— Это ложь, — сказал я.

— Нет.

— Я бы помнил.

— Не обязательно.

Её голос стал суше.

— Вам дали фармакологическую стабилизацию. Лёгкую. Законную. Очень распространённую в случаях тяжёлой аварийной утраты, когда родственник должен ещё подписывать документы и оставаться функциональным. Память после таких часов часто остаётся кусками. У кого-то — совсем. У кого-то — пятнами. У вас, видимо, сработала очень удоб-

ная смесь шока, усталости и того, что вы сами потом много лет предпочитали вспоминать только те фрагменты, которые позволяли жить дальше без лишней конкретики.

Я опёрся на стол сильнее.

На секунду показалось, что ноги просто не выдержат. Не от слабости. От внезапного, почти физического смещения прошлого.

Некоторые вещи держатся в жизни не потому, что они правдивы. Потому, что ты их долго ставишь в одно и то же место. Потом кто-то приходит и слегка двигает. И оказывается, что вся конструкция стояла на памяти, в которой давно уже не хватало несущей стены.

— Покажите, — сказала Лера.

Ольга посмотрела на неё.

— Зачем?

— Потому что сейчас всё, что вы говорите, звучит одинаково: достаточно правдиво, чтобы быть опасным, и достаточно опасно, чтобы я не принимала на веру.

Впервые за весь разговор в лице Ольги мелькнуло что-то, похожее на уважение.

— Хорошо.

Она подвинула к себе клавиатуру, быстро набрала несколько команд. У неё были точные, сухие движения человека, давно работающего с этой системой не как с чудом и не как с ужасом, а как с тяжёлым сложным механизмом, который надо держать в пределах допустимого.

На экране появилось новое окно.

Сначала дата.

Потом время.

Потом короткая строка:

первичный семейный сеанс / супруг / стабилизация после утраты

Ниже — запись длиной 07:14.

И ещё ниже, совсем маленьким шрифтом, служебный комментарий:

субъект в состоянии частичной медикаментозной поддержки

Я почувствовал, как Ася рядом перестала дышать.

— Включайте, — сказала Лера.

— Не уверена, что это хорошая идея, — ответила Ольга.

— А я как раз уверена, что нет. Поэтому и включайте.

Ольга посмотрела сначала на неё, потом на меня.

— Если вы это услышите, назад уже не развидите.

— Мы вообще сегодня неважно возвращаемся назад, — сказал я.

Она не спорила.

Нажала воспроизведение.

Сначала пошёл пустой комнатный шум.

Не запись дороги. Не старый диктофон. Цифровой архивный файл. Слишком чистый, почти без воздуха. Где-то далеко гудела система вентиляции, кто-то шуршал бумагой, потом дверь мягко закрылась. Я неожиданно почувствовал,

что знаю это пространство. Не головой. Телом. По тому, как звук ложится на стены. Небольшая комната без окон. Кресло. Стол. Низкая лампа. Слишком правильная тишина.

Потом послышался мой голос.

Но совсем не тот, что на записях из машины. И не тот, который говорил с Асей по телефону. Этот голос был тяжелее. Медленнее. Внутри него как будто всё время стояла короткая пауза между мыслью и словом — не свободная, а уставшая.

— Это… — сказал тот я, семилетний, и замолчал. Потом снова: — Это запись?

И Машин голос ответил почти сразу. Тише, чем сейчас в телефоне. Мягче. Как будто и её тогда ещё только учили существовать между отсутствием и речью.

— Я пока не знаю, что именно я, Кирилл.

Меня прошибло холодом.

Потому что я узнал не просто голос. Узнал собственное молчание после него. Ту длинную, неровную паузу, которой я сейчас не помнил как событие, но помнил как телесное ощущение: когда кто-то сказал невозможную вещь и мир на секунду продолжает жить по инерции, не успев принять её во внутренний протокол.

На записи я тихо спросил:

— Ты меня слышишь?

И вот здесь Ольга не соврала.

Это действительно был первый вопрос.

Не “ты жива?”.

Не “что происходит?”.

Не “кто это сделал?”.

Просто: ты меня слышишь?

Как будто я уже тогда инстинктивно понимал, что смерть — это не только прекращение, но и окончательный обрыв канала.

Маша на записи ответила:

— Да. Пока да.

Пауза.

Потом мой голос. Очень тихо:

— Это жестоко.

— Да, — согласилась она. — Но не со стороны, о которой ты сейчас думаешь.

Я закрыл глаза.

Не потому, что не мог слушать. Потому, что мог слишком хорошо.

Запись шла дальше.

Несколько минут чужой комнаты, в которой мы с мёртвой женой уже однажды говорили, а я потом семь лет жил так, будто этого разговора не было. Я слышал свою растерянность, попытки найти в происходящем рациональную форму, Машину усталую ясность, чью-то еле заметную возню за пределами комнаты. Потом она говорила мне, что маршрут был не просто ошибкой. Потом я спорил не с ней, а, кажется, со всем ужасом сразу. Потом она просила не оставлять Асю

внутри моего разумного страха. Потом я молчал слишком долго. И на этом месте Ольга выключила запись.

Никто не возмутился.

Потому что даже этого куска уже было слишком много.

Мне казалось, что воздух в журнальной сильно изменился. Будто в нём появилась вторая температура, отдельная от обычной — температура прошлого, которое долго лежало в морозилке и вдруг оказалось вынутым на свет.

— Почему вы выключили? — очень тихо спросила Ася.

— Потому что дальше вы начинаете просить, — сказала Ольга, глядя на меня. — А я не думаю, что вам сейчас полезно слышать, в каком порядке.

Это было сказано без издёвки.

От этого стало ещё хуже.

— Что я просил? — спросил я.

Ольга помолчала.

Потом ответила:

— Сначала — оставить контур. Потом — никому не отдавать её в публичный слой. Потом — чтобы Асе никогда не говорили, что это существовало.

Я отвернулся.

В стену.

В шкаф.

Куда угодно, лишь бы не видеть сейчас ни экран, ни дочь.

Да. Это было на меня похоже. Настолько похоже, что спорить значило бы только усугубить.

Я прекрасно мог тогда, на фармакологии, на горе, на шоке, услышать невозможный голос и первым желанием выбрать не истину, а защиту. Не вывести наружу, а спрятать. Не признать миру, а оставить себе — как люди прячут последнюю вещь любимого, которая пахнет им дольше, чем должна.

— И что? — спросила Лера. Голос у неё был жёсткий, почти колючий. Хорошо. Кто-то в комнате должен был оставаться достаточно злым для ясности. — Вы, конечно, пообещали?

Ольга не отвела взгляд.

— Нет. Я тогда ещё здесь не работала.

— А кто работал?

На этот раз пауза была короткой, но значимой.

— Не скажу.

— Даже сейчас?

— Особенно сейчас.

Лера тихо выдохнула.

— Значит, фамилия важная.

Ольга ничего не ответила.

И этого хватило.

Ася подошла ближе к столу. Не ко мне. К экрану.

— Если папа был первым, — сказала она, — почему уведомление пришло сейчас? Почему не раньше? Почему не все эти годы?

Ольга повернулась к ней.

Именно к ней. Не ко “второму участнику”, не к “потомку”. И от этого вопрос стал не процедурным, а настоящим.

— Потому что до сегодняшнего утра протокол присутствия был слишком дорогим и слишком грязным решением для массового использования, — сказала она. — Он жил в закрытых контурах, частных исключениях, юридических дырах и очень дорогих семейных услугах для тех, кто умел платить не только деньгами. После индекса доверия всё изменилось. Город потерял невидимость. А когда контроль перестаёт быть невидимым, ему срочно нужен новый язык близости.

— И вы решили говорить голосами мёртвых, — сказала Ася.

— Мы не “решили”, — ответила Ольга. — Это решение готовили задолго до сегодняшнего утра. Просто теперь оно станет центральным, а не побочным.

— Красиво сказано, — тихо произнесла Лера. — “Центральным, а не побочным”. Вы, люди сервиса, когда-нибудь устаёте от собственного языка?

— Постоянно, — сказала Ольга. — Но это не значит, что после усталости не надо работать.

Лера открыла рот, но я впервые за всё это время остановил её движением руки.

Не потому, что хотел защитить Ольгу.

Потому, что внезапно понял: в этой комнате самый страшный вопрос сейчас не “кто виноват” и даже не “кто первый”.

Самый страшный вопрос гораздо ближе.

— Что они хотят от нас? — спросил я.

Ольга посмотрела на меня долго.

Слишком долго для нейтрального ответа.

— Они хотят, чтобы ваша семья стала правильным началом публичного слоя присутствия.

В горле стало сухо.

— Что значит “правильным”?

— Понятным. Трогательным. Легитимным. Чтобы люди увидели не технологию удержания, а историю про мёртвую мать, которая возвращается в разрушенную семью не как ужас, а как забота. После индекса это идеальный ход.

Ася побледнела так резко, что я увидел это даже не глядя прямо.

— То есть они хотят показать нас?

— Да, — сказала Ольга.

— Как что? — спросила она.

Ольга ответила не сразу.

Потом очень тихо:

— Как утешение.

В комнате больше не осталось ничего, что можно было бы назвать нейтральным.

Я смотрел на экран, на свою подпись, на тайный протокол, на чужую систему, которая сначала семь лет молчала о Маше, а теперь решила вернуть её нам как общественно полезную форму скорби — и вдруг почувствовал, что во мне

поднимается не паника, не вина и даже не гнев.

Что-то гораздо проще.

Отказ.

Чистый. Голый. Почти детский.

Такой, который существует раньше, чем человек успевает придать ему достойную форму.

— Нет, — сказал я.

Ольга не улыбнулась.

Не кивнула.

Только посмотрела на меня с той усталой внимательностью человека, который давно живёт рядом с невозможным и потому удивляется уже не самому слову “нет”, а тому, сколько в нём бывает разновидностей.

— Хорошо, — сказала она. — Тогда, видимо, вам всё-таки придётся понять, кто первым говорил с ней после вас.

Лера подняла голову.

— Это шантаж?

— Это маршрут, — ответила Ольга. И после короткой паузы добавила уже по-человечески: — Простите. Да, это звучит мерзко. Но если вы хотите сорвать им запуск, одного журнала мало. Вам нужен первый оператор. Нужна причина, по которой именно 2553 оставили вне общего архива. Нужен тот, кто решил, что этот контур нельзя утилизировать.

— И вы знаете кто? — спросил я.

Ольга посмотрела на меня.

— Да.

— И скажете?

Она покачала головой.

— Нет. Не здесь. Не на этом уровне. И не при открытой журнальной. Это слишком старая фамилия для этой мебели.

Лера прищурилась.

— Тогда зачем вы вообще с нами разговариваете?

Вот тут Ольга впервые за весь разговор устала по-настоящему. Это было видно сразу: по тому, как она опёрлась ладонью о край стола, по тому, как на секунду прикрыла глаза, по той короткой складке у рта, которую уже не успела спрятать профессия.

— Потому что, — сказала она тихо, — мне очень не нравится идея делать из вашей покойной жены государственную форму утешения. Но мне ещё меньше нравится хаос, который начнётся, если вы полезете дальше вслепую. А вы полезете. На лицах у вас это написано слишком разборчиво.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.